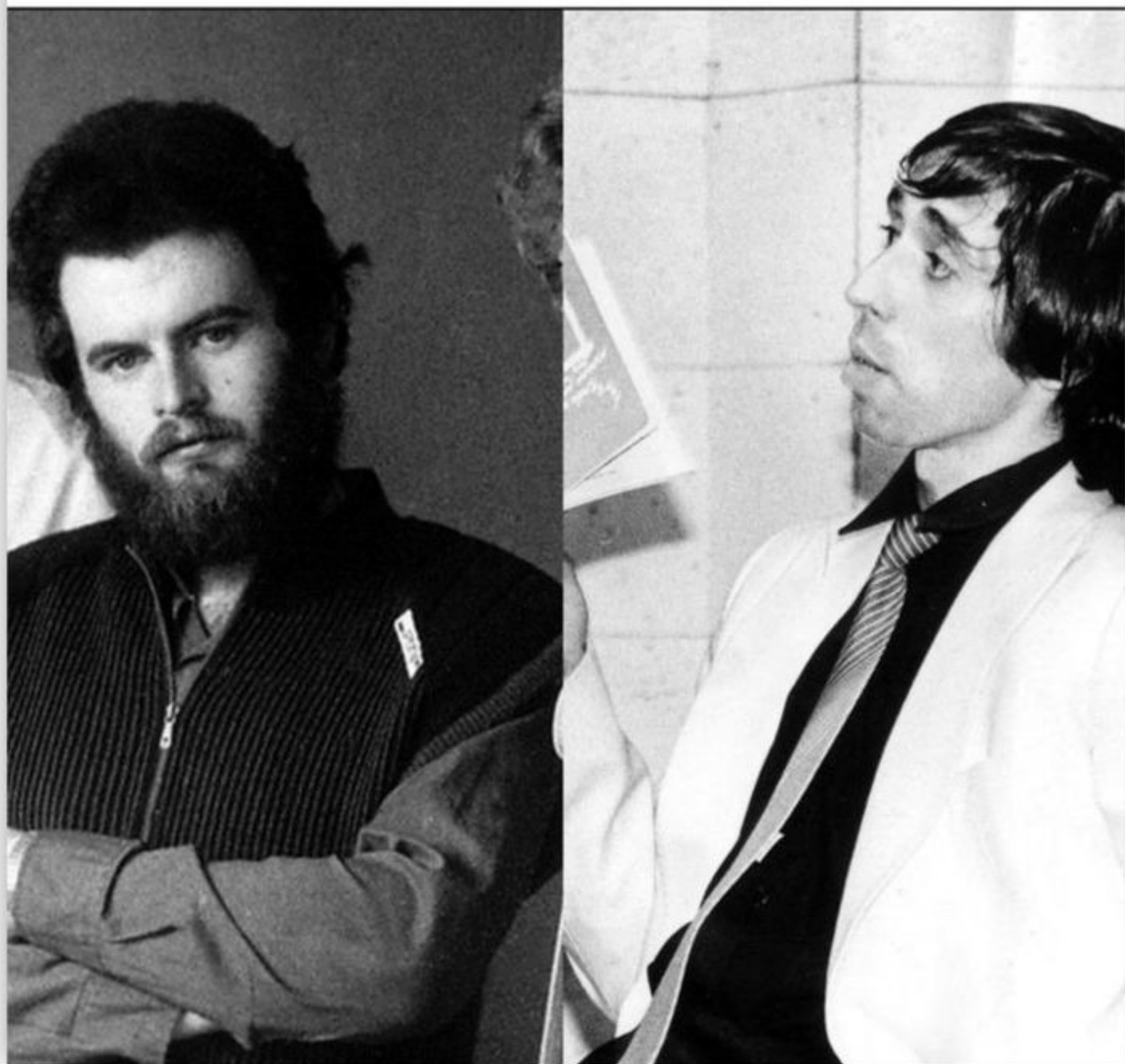


18+ Александр Верников
Леонид Ваксман

Театр одного вахтера

Повесть



Александр Верников

Театр одного вахтера. Повесть

«Издательские решения»

Верников А.

Театр одного вахтера. Повесть / А. Верников — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-534292-8

«Театр одного вахтера» — ранняя проза Александра Верникова и Леонида Ваксмана. Примерно сорок лет назад она была прочитана вслух в кругу молодых свердловских литераторов на довольно тайной вечере. Об опубликовании нечего было и помышлять. Но времена меняются...

ISBN 978-5-00-534292-8

© Верников А.
© Издательские решения

Содержание

У Майи Никулиной, сорок лет назад – Евгений Касимов	6
Глава первая – Вяземский летит в Свердловск	7
Глава вторая – Знакомство с Анциферовым	11
Глава третья – В свою очередь	14
Глава четвертая – Будни писателя	18
Глава пятая – Вяземский заходит с тыла	20
Глава шестая – История болезни	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Театр одного вахтера Повесть

**Александр Верников
Леонид Ваксман**

© Александр Верников, 2021

© Леонид Ваксман, 2021

ISBN 978-5-0053-4292-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

У Майи Никулиной, сорок лет назад – Евгений Касимов

Верников читал невозмутимо, но при этом артистично скалил зубы и блестел глазами. Компания на кухне посмеивалась. Иногда Верников терял тон – и сам начинал азартно хохотать. Чтение вдруг прерывалось, все чинно выпивали и закуривали. К концу второй главы Верников изрядно взвинтился. Я сидел на полу под газовой плитой, за столом – Майя, Костя Белокуров, Богданов, в углу притулились Мичковский и Дорогокупля. Великолепный Калужский тоже был. Стоял, прислонясь к дверному косяку. Верников сидел на табурете, понятно, в центре. Неожиданно скучным голосом сказал: «Пока всё». И искоса посмотрел на друзей-приятелей. Друзья улыбались. Я уже был достаточно пьян, чтобы говорить дерзости. И я стал их говорить. Компания насторожилась. Я нёс околесицу, подбадривая себя портвейном. Я сказал, что главный герой подозрительно похож на обаятельного альтиста Данилова – но только вот нет в нем ничего демонического, одна претензия на демонизм, он такой... понимаешь, герой, который щеголяет в джинсах «Леви Страус», а присмотришься – самопал! Пошитый в подвальной мастерской имени Клары Газуль! И так далее. Первым не выдержал Костя Белокуров. Он очень вежливо стал объяснять мне, что повесть замечательно хороша, но вечер как-то скукожился. Было уже поздно. Майя ушла спать, насупленная компания разошлась, а мы с Верниковым, втабуретившись, сидели уже за столом и о чем-то запальчиво говорили. О чем говорили – не помню, но помню, что запальчиво. Так и просидели до утра, а когда выкатились на улицу и пошли себе по улице Луначарского. Мне было несколько неловко. Я осторожно перевел разговор на американскую литературу, пытал его, читал ли он Фолкнера, Томаса Вулфа, а он легко мне отвечал, что не читал и ему совсем не интересны ни Томас Вулф, ни Фолкнер, ни Хемингуэй. А ты почитай, настырно бухтел я, мучимый похмельем. Уже через несколько лет он признался, что прочитал все это дело на английском, но так и не вдохновился великими американцами. Еще одну главу повести он написал буквально через неделю. Опять устроили читку, и так как я был абсолютно трезв, мне глава понравилась. Очень понравилась. Мы быстро подружались, и я Верникова уже запросто называл Кельтом. А повесть свою он почему-то забросил. И, поверьте, не я был тому причиной. Кельт стал писать рассказы – один лучше другого, и через десять лет в Средне-Уральском книжном издательстве (СУКИ) у него вышла книжка «Дом на ветру». Обложку нарисовал тонкий график Копылов.

Так повелось, всегда читали друг другу новые стихи, рассказы, романы. Сейчас и представить себе такое трудно: все издаются со страшной силой, и на посиделках разве что обменяемся впечатлениями от прочитанного. Один Игорь Сахновский до конца оставался верен традиции: сообщал по телефону, что закончил роман, приходил с утра в воскресенье – и, расположившись в креслах, нещадно дымя «Винстоном», энергично читал. А потом, отужинав, мы уже сплетали обстоятельный разговор. Я же с удовольствием донимал его только что написанными стихами, правда, только по телефону. Эх, были времена!

Однажды у Толи Фомина были назначены чтения, и собралась вся шатия-братия. Леня Ваксман объявил, что дописал повесть Верникова, разумеется, испросив его разрешения. И начал читать. Ваксман был прекрасен! Повесть развернулась во всю свою ширину. Легкий стиль. Узнаваемые персонажи. Цимлянским игривым вспенилось веселье. Конечно, мы делали перерывы, чтобы подкрепиться серьезным алкоголем, и всё более и более воодушевлялись. К концу повести все бессильно икали и хихикали. А одна барышня в изнеможении пролепетала: «Я так хохоталась!»

Хорошо бы перечитать.

Евгений Касимов

Глава первая – Вяземский летит в Свердловск

Полет, как было объявлено, проходил со скоростью 950 километров в час на высоте 11 тысяч метров, и с такой высоты ни Вяземский, и никто другой из пассажиров не мог развлечь себя зрелищем узорчатых ландшафтов, сменявших друг друга внизу – не потому, что было слишком высоко (из космоса, например, землю видно прекрасно), но потому что самовластный сибирский антициклон, не терпящий ни малейшей облачности, еще не сумел утвердиться на территории от Хинганского до Уральского хребтов – была только середина ноября.

Вяземский, откинув безупречную голову на обтянутый накрахмаленным мешком валик, придавив приведенным в полулежачее положение креслом чьи-то колени, закрыл глаза, не зная, что таким образом подверг себя перекрестному огню сразу нескольких пар широко раскрытых, вбирающих его лик на всю последующую жизнь женских глаз, и вспомнил, что подробным описанием погоды (только в Европе) начинается роман Музиля, недавно переведенный у нас и недавно прочитанный. На мгновение Вяземский ощутил себя героем романа – человеком без свойств, получившим отпуск от жизни и летящим его осуществлять. Разница между ним, Вяземским, и Ульрихом состояла, правда, в том, что первый изначально был не таким, не настаивал на подобном отпуске – с русским человеком Вяземским это как-то само собой случилось, с ним это стряслось, и потому ни радости, ни австрийского воодушевления и аппетита он не испытывал. Находясь в самолете, как было сказано, буквально между небом и землей, он очутился между двух стульев, и от этого был в растерянности, но в отличие от своего невольного, изошренного, ведомого сильной волей, наблюдениями и идеями западноевропейского собрата, Вяземский не стал бы упорствовать в пребывании в таком пространстве; он не хотел как тот, другой, уподобляться средневековым мистикам и высекать из своего состояния искру божью, открывать новые неведомые пространства, или, как это называли там Музиль с Ульрихом – инобытие. Если выдающийся австрияк, например, прекрасно видел, где стоят эти самые стулья и мог их к себе пододвинуть и сесть, и в силу этой банальной возможности (в погоне за новыми) не делал этого, то русский просто не знал куда, в каком направлении протянуть руку. Вернее нет, он догадывался, чувствовал, предвидел, но собственными силами придвинуть опору не мог, да и что то была за опора?

– Армия! Он знал, что теперь его обязательно заберут, ведь не будет же он в свои 24 года бегать от военкомата, как делают сейчас многие его сверстники. Правильнее было бы, подразумеваемая под словом «теперь» душевное состояние и неприкаянность Вяземского, сказать, что его подберут как нищего большого беспризорника. Подберут, оденут, обуют и дадут соответственно форме настоящее дело. Как бы внутренне, в самом сердце, Вяземский не противился службе в рядах, понимая, что он и ряды – вещи несовместные, сейчас он чувствовал, что его собственная (личная) жизнь настолько обеднела (пусть для окружающих, которые полагают, что красивый человек на сто процентов состоит из одной внешности, это и незаметно), настолько лишилась стимула и смысла, что больше не держалась в жизни общей, сколь бы Вяземский эту – общую – жизнь ни любил. Он чувствовал, что распрощался с прежней жизнью, вернее, с её сутью; он знал, что сердцевина этой жизни выгорела. Случилось нечто, что не позволит ему занимать прежнее, большое и прочное место в этой жизни; случилось то, что гонит его прочь из нее. Хорошо хоть, думал Вяземский, что во всем мире существует еще одно место кроме жизни, и это место – не могила, и если я не могу жить здесь, то я уйду из этой жизни в то место, откуда эта жизнь обороняется, и как бы обеспечивается... Так уныло убеждал себя Александр и уже живо, с садистической приятцей представлял себя в драной шинельке рядового, вздыхал, усмехался, морщился и вдруг открыл глаза, машинально поглядев за иллюминатор (не замечая как вокруг поспешно вспархивают и возвращаются на свои

орбиты выскочившие оттуда для соприкосновения с ним взоры женщин), ничего кроме пелены облаков не увидел и вновь вернулся к армии, как к мысли спасительной, если бы не одно «но».

Если сибирский антициклон и был в отношении облачности силой, сравнимой с той, что является для мужчин в возрасте от 18 до 50 лет армия, то антициклон к этому времени еще не приобрел полной власти над вверенной ему территорией, и армия такую власть над вверенными ей людьми уже потеряла. Говоря попросту, осенний набор и призыв уже кончился. Конечно, Вяземский мог по прибытию в Свердловск первым делом пересесть из авиационного пассажирского кресла в кресло парикмахерской аэропорта, затем, примчавшись на такси в военкомат усесться в кресло (а скорей всего стать навытяжку) перед комиссаром и слезно попросить, потребовать зачислить его, Вяземского, в ряды, послать вдогонку уже отправленной или присовокупить к еще неотправленной последней партии новобранцев, но здесь было еще одно «но» – необходимость встать сперва на воинский учет, а перед этим восстановить свердловскую прописку. К тому времени пройдут последние военно-медицинские комиссии (если уже не прошли наверняка) и он останется ни с чем до весны.

Вяземский не раз слышал о себе отзывы, в которых люди, не зная с чем сравнить его появление в той или иной ситуации, сравнивали его с погодой вообще или с ее отдельными проявлениями (с ясным солнышком, со свежим или теплым ветерком, с живительным ливнем, с цветущим зимой садом) и хотя он принимал такие отзывы невозмутимо, все же они были ему приятны. Но теперь, сидя в самолете, ощущать, что ты сам и без всяких сравнений и метафор находишься в такой зависимости от погоды было вовсе не приятно – это было крайне неудобно. Даже если предположить, что машина марки ТУ-154, действительно не зависит от настоящих метеоусловий и в самом деле приземлится не в каком-нибудь там Челябинске или в Тюмени, а непосредственно там, куда и держит свой курс – в Свердловске, то все равно покоящийся в кресле внутри этой, ведомой собственной свободной волей машины, Вяземский чувствовал себя неким зерном, вылетевшим из громадной руки беспшашного сеятеля и падающим на бесплодную позднюю почву.

Как в таких условиях было перетерпеть и после этого дать какие-то всходы, он не знал. Зная, правда, много стихов, он мог успокаивать себя, например, такой строчкой: «Как яблоне зимой в рогоже голодать, тянуться с нежностью бессмысленно к чужому и шарить в пустоте, и терпеливо ждать», или в предвкушении будущего говорить: «О, весна без конца и без края! Без конца и без краю мечта!» Однако, то, что он будет встречать весну буквально звоном щита и оружия – хотя перспектива была неизбежна, конечна и в том качестве желанна – не позволяло ему произносить именно эти строки. Если бы он уходил в армию прямо сейчас, по мерзлой, затихшей, временно умершей земле, по первому снегу, то все было бы ничего. Но знание того, что он займет свое место в рядах вооруженных сил весной, не раньше апреля, омрачало его вступившую на путь метафоричности и художественности мысль. Ему казалось, что он станет воином точно таким же путем, каким из засеянного драконьими зубами поля (прежнее сравнение себя с зерном плюс идея огрубляющего и очерствляющего холода ж схожесть формы, породили образ драконьего зуба) вставали воины навстречу Ясону.

Никакого Ясона в весеннем Свердловске, конечно, не могло появиться, но такой ход мысли и такие образы не были тем не менее совсем неправомерны – дело в том, что если одни, видимо более естественные люди, сравнивали Вяземского с различными природными и атмосферными явлениями, то другие, тоже достаточно многочисленные (очевидно, более книжные) сравнивали его с тем или иным лирическим или литературным героем – с Иваном-царевичем, датским принцем, лордом Саусхемптоном, Дорианом Греем, Ахиллесом и в том числе с Ясоном (Сам Вяземский, отнюдь не будучи невнимательным или только снисходительным к мнениям людей, и все же оставаясь самим собой, позволял сравнивать себя с кем угодно – если это доставляло людям удовольствие или если так было им более привычно и покойно, если они инстинктивно бежали уникальности. Однако, когда тебя многие годы зовут то ясным

солнышком, то живительным ветром, то лордом Саусхемптоном, то Ясоном, – это все равно накладывает отпечаток, бросает на тебя пусть и богатую, пусть и светлую тень и ты сливаешься с нею и исподволь, подсознательно все же немного считаешь себя всем этим – солнцем, ветром, погодой, Ясоном). Поэтому то чувство, которое к концу полета овладело Вяземским, и развитие которого шло столь, казалось бы, причудливым и усложненным образом, было чувством разлада с самим собой. Такая мнимая и подозрительная (если не сказать претенциозная) сложность на самом деле имела объяснение: попросту – если ты живешь все равно, что один, если тебя практически не замечают (таковых большинство), то твоя суть всегда при тебе; она не может уйти от тебя дальше, чем двухлетнее дитя, и, более того, ты не дашь ей, как этому самому младенцу, уйти далеко и потеряться – иначе с чем же ты останешься? И потому разлад с собой ты ощутишь сразу – определенно и прямо – без так называемых обиняков; ты увидишь, что твое внутреннее «я», твой нелепый двойник в зеркале корчит тебе отвратительные рожи; между вами больше никого нет. Другое дело, когда ты живешь на виду и, кажется, всем нужен: тогда тебя буквально носят на руках, тебя, так сказать, рвут на куски и тащат во все стороны; когда ты разбрасываешься собой так щедро и бездумно, что снова собрать себя воедино задача далеко не из легких, если она вообще выполнима и если ее вообще имеет смысл стремиться выполнить. Когда же тебя толкают на это обстоятельства – и в случае, если ты таков как Вяземский – обстоятельства всегда неприятные, неправильные.

Вот почему Вяземский не мог утешить себя оптимистической строкой любимого поэта. Но так как он, Вяземский, находясь в воздухе, уже нашел и почувствовал в строгой процессии стихотворного ритма, в метрике и четкой смене рифм определенную опору, и, кроме того, отринул, как неподходящие, стихи о сулящем новую жизнь весеннем, будущем, то он теперь вспоминал стихи о поздней осени, о том времени, что стояло над невидимой землей за иллюминатором. Он снова взглянул в иллюминатор и, хотя кроме облаков ничего не увидел, и в том числе никаких нив (однако, облака были в конце концов туманом и они были седые, и кто-то из поэтов несомненно называл их «небесными нивами»), откинувшись в кресло, стал мерно, словно раскачивая строку из стороны в сторону, читать про себя: «Утро туманное, утро седое. Нивы печальные, снегом покрытые. Нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица, давно позабытые...

И действительно, стихотворение, кроме того, что своим колоритом соответствовало как нельзя лучше настроению Вяземского, было избрано безошибочно, – потому что настроение это приводило в лучшее и более яркое, в живое прошлое и туда же самолет нес Вяземского. Прошлое действительно было живо – в стенах факультета иностранных языков – и лица, по крайней мере очень многие лица, по прежнему были там. Вспоминая эти лица и связанные с ними события, Вяземский, прикрытый собственными веками, заулыбался (что, в свою очередь, привело к оживлению и улыбкам тех в салоне, кто в течение всего рейса не сводили с него, Вяземского, глаз), и, сообразив, – словно эта мысль была прикосновением самого настоящего, теплого и живительного ветра – что он запросто может застать этих людей, увидеть их, заговорить с ними, он оживился и пришел чуть не в восторг. Он воспрял духом и так резко выпрямился в кресле, что взгляды, следивших за ним женщин и девушек (да и ценивших красоту мужчин), так сказать, посыпались с него вверх тормашками, словно пробудившийся Гулливер, пошевелившись, стряхнул с себя лилипутов, пытавшихся исследовать и измерить его во сне.

В это время самолет пошел на снижение и запрыгал по густым облакам как какой-нибудь школьник, съезжающий на спор на своем портфеле по обледенелым ступенькам крыльца. Те, кто сидели внутри салона, сразу почувствовали, с некой оторопью и священным ужасом сколь на самом деле грандиозна скорость реактивного лайнера – Вяземский же только развеселился. Но еще больше веселила его, аккомпанирующая спуску, специально для этой цели и для этих минут подобранная и записанная, и потому кажущаяся, с одной стороны, невероятно уместной,

а с другой – столь же лихо-идиотской, передаваемая по бортовой радиосети песня: «Птица счастья завтрашнего дня прилетела, крыльями звеня!»

Вяземский откинулся в кресле снова – он откровенно хохотал по поводу огромного вкуса и восхитительного чувства юмора экипажа Читинской авиалинии. Тело его крупно содрогалось, глаза были закрыты, и это дало последнюю перед посадкой и расставанием возможность тем, кому это было необходимо и дорого, насмотреться на Александра и, так сказать, запечатлеть его в своей памяти.

Глава вторая – Знакомство с Анциферовым

Среди тех, кого Вяземский, ранее обладавший широким кругом общения, надеялся встретить в Свердловске, произошли, соответственно эволюционному ходу времени, определенные изменения. Старая гвардия поредела, но природа, не терпящая пустот, вложила в незанятые ячейки общественных отношений и ролей новые имена. На факультете, где ранее блистал Вяземский, сейчас самой выдающейся личностью считался студент по фамилии Анциферов, и выдавался он на факультете прежде всего тем, что, так сказать, выдавался вон из этого факультета. Иными словами, он знал английский и немецкий языки с детства, и на иняз поступил только затем, чтобы, числясь в рядах студентов, иметь в течение пяти лет свободное время. Официально свободное время Анциферова именовалось свободным расписанием, и подразумевалось, что он может не посещать лекции и семинарские занятия, а лишь обязан сдавать зачеты и экзамены, и, в соответствии с неизменным успехом этих предприятий, получать несколько повышенную стипендию, которая была бы еще выше, вздумай Анциферов посвящать некоторую часть своего свободного времени общественной работе на факультете.

Однако, Анциферов был бесконечно далек от таких помыслов: несмотря на то, что у него в сравнении с остальными студентами была уйма времени, он с полным правом мог сказать, что времени у него нет ни минуты, или, по крайней мере, что времени у него – в обрез. Дело в том, что у Сергея (таково было имя Анциферова) были призвание и талант прозаика – он писал рассказы и повести и делал это непрерывно, то есть практически не занимался ничем другим, зная, что время, отпущенное ему на это ничтожно – пять лет – и что по истечении этого срока он уже не сможет, а вернее, никто, никакая общественная организация и служба не предоставит ему свободу отдаваться своему призванию и служить своему таланту так полно и безраздельно. И поэтому он стремился выдать все, что мог в гарантированные пять лет. Сергей был очень поздним ребенком и потому более чем двадцатилетняя задержка в утробе матери с лихвой заменила ему так необходимый, по общему мнению, для писателя жизненный опыт и даже, напротив, делала этот опыт уникальным. И если по паспорту Анциферов находился на двадцать втором году жизни, то фактически ему было никак не меньше сорока пяти лет, что и позволяло ему, не тратя время на так называемые пробы пера, поиски стиля и темы, создавать сразу зрелые, значительные и законченные вещи. Вся трагедия положения Сергея, как, впрочем, и его комизм, заключались в том, что он действительно являлся этим самым – настоящим, зрелым и большим писателем (в каком качестве и был принимаем и очень известен в свердловских полуофициальных и неофициальных литературных кругах), а не каким-нибудь там желторотым, шумным графоманом. Думая о месте своей фигуры в русской словесности в целом и в литературном Свердловске в частности, Анциферов с полным правом мог бы сказать, что это не он при своем появлении был воспринят в литературные круги, а что, так называемые, круги эти появились и пошли едва ли не впервые от попадания Анциферова в культурный Свердловск как в тихую, почти стоячую воду – Сергей приехал в областной центр из города Чернотурьинска, где провел детство, и где жило много немцев, чем в какой-то степени и оправдывалась неполная русскость его фамилии, и объяснялось отличное, врожденное знание не просто немецкого языка, но для Сергея, как для писателя, в первую очередь языка Гриммельсхаузена, братьев Гримм, Гейне, Гёте, Гельдерлина, Шиллера, Бюхнера, Рильке, Музиля, Томаса Манна, Макса Фриша, Инеборг Бахман и многих, многих других.

За те четыре года, что Сергей числился на факультете иностранных языков, им было написано столько (он начал писать сразу по достижении документального совершеннолетия, словно с наступлением этого срока перешел в законное владение родовым, оставленным ему баснословно богатыми предками именем), что если бы все эти произведения и начали публиковаться умеренными, средними темпами, то появились бы в свете полностью лет через

двадцать – двадцать пять и не меньше. Но так как Сергей имел от природы трезвую голову и, кроме того, был отлично осведомлен об издательской политике и о бесконечной рутине «работы с молодыми авторами», тянувшейся до тех пор, пока эти авторы не достигнут предпенсионного возраста, он и не помышлял о публикации.

В минуты особого душевного отчаяния, выливавшегося в отчаянную, какую-то погибельно-ерническую веселость, он, правда, помышлял о другом – о том, что если он не станет дожидаться пока первую его вещь опубликуют – кто-то «они», некие безличные «They», «Das Man» – а, собрав все свои черновики, рукописные чистовики и все множество машинописных экземпляров, перетянуть это суровой тесьмой крест-накрест, (что будет внешне символизировать постанковку креста на собственном четырехлетнем, читай: двадцатипятилетнем труде) и отнесет в ближайший пункт приема макулатуры и вторсырья, то наверняка сразу получит взамен книгу Александра Дюма «Двадцать..» или даже «Тридцать лет спустя» или еще того больше – книгу «Сорок пять», и, возвратившись с одной из этих возможных книг к себе, он – таким – куда более коротким путем сможет держать в руках книгу, явившуюся результатом все же его собственного труда и напечатанную-таки типографским способом, то есть опубликованную; и, с горечью и сарказмом перелистывая страницы, он будет читать строки, которые, если так можно выразиться, не годятся в обложки тем строкам, что выходили из-под его собственного пера. И так, непрерывно кривясь над пошлыми поворотами пошлой интриги, над пошлейшим построением фраз и жалким словарем, он и скоротает те двадцать, тридцать или сорок пять лет, спустя которые его, Анциферова, книги имели бы маломальский шанс увидеть свет.

Конечно, факт, что Сергей, пусть и в минуты особого отчаяния, имел планы, направленные непосредственно на претворение в жизнь, а не в художественную литературу, не свидетельствует о том, что писал он не все время, то есть, фразу Сергея: «Я только пишу, пишу, пишу – непрерывно, не поднимая головы, и не делаю ничего другого!», которую он произносил с интонациями простой констатации глубоко осознанного факта; сильного, как бы экзотического, почти религиозного воодушевления или крайнего, граничащего с истерикой раздражения – в зависимости от того, был адресат Сергея его почитателем, просто читателем, литературным оппонентом или одним из родителей – не следовало понимать буквально. Ее следовало понимать в широком смысле, а именно в том, что вся жизнь писателя, даже тогда, когда он не склоняется над листом бумаги и не грызет конец ручки, а грызет, например, яблоко на автобусной остановке, всецело подчинена тому, что он пишет или напишет в будущем.

Короче, если у Сергея и бывали какие-то помыслы, то они непременно, так или иначе, переплавлялись, перевоплощались в замыслы, которые затем воплощались в текст. Если смотреть на этот процесс не глазами самого Сергея, а с некоего удаленного мысленного возвышения, то Сергея можно было бы не без основания сравнить с вербовщиком рекрутов в царскую армию (имея ввиду царственность литературного дара) или с воинствующим неотступным миссионером, обращающим каждого встречного и поперечного в веру в своего бога (опять таки, подразумевая под богом божественность таланта) или, еще того вернее, с неким всеобъемлющим и грандиозным алхимиком, который для верного безошибочного получения золота чистейшей пробы валит в горнило не только весь попадающийся под руки предметный материал, но и материал человеческий – все известные ему людские души и тела.

Однако, сколь простым и даже схематичным не казался бы этот процесс издали, в своей результативности для самого главного действующего лица, для самого двигателя этого процесса – для автора – все обстояло гораздо сложнее. Когда Сергей сидел, порывисто скособочась, над столом и щедро, молниеносно сеял выверенные слова на белое поле бумажного листа, он ни о чем не думал, он не знал, где он находился, не чувствовал ни времени, ни места, то есть, он жил, – он собственными силами творил жизнь и сам в ней участвовал. Когда же эта или иная новая вещь была закончена, Анциферов оставался буквально с пустыми руками, на краю

пропасти, лицом к лицу с бездной. Бездной для Сергея было не только то, что по окончании факультета иностранных языков он уже не сможет полностью – и потому вообще не сможет – быть писателем, но и всякая новая жизнь, которая расстилалась и яростно шевелилась кругом – но только пока – потом все равно должна была кончиться, ухнуть в бездну. Сергей очень любил всю эту жизнь и страстно жалел ее, несмотря на то, что сам он практически не пользовался, не наслаждался ею, ей не принадлежал и ею не обладал – у него не было на это времени, да и надобы. Его судьба была подобна жизни и цели падающей звезды – просверкать на небосклоне жизни, осветить этот небосклон и исчезнуть. Но сам только сильнее, острее, с высоты своего положения и космического полета, Сергей жалел и любил эту жизнь. Ему была очень близка и понятна любовная, почти отеческая – несмотря на то, что они были «сыны Земли» – жалость космонавтов к Земле и фраза, принадлежащая кому-то одному из них: «...наша планета – она такая маленькая и голубая...» Только Сергею для того, чтобы проникнуться таким чувством, вовсе не требовалось проходить многолетний курс физической и технической подготовки и подниматься на ракете в безвоздушную высь: он чувствовал так, глядя в окно трамвая, такси, в любую заборную щель – он чувствовал так даже тогда, когда мальчиком подсматривал в замочную скважину женской бани. Это была финская баня Дома спорта города Чернотурьинска, где Сергей, по настоянию и воле родителей занимался в секции конькобежного спорта. И он делал это, то есть подсматривал, конечно же, не потому, что его подстрекало любопытство подростка, вступившего в пору полового созревания (ведь и тогда Сергею фактически шел уже четвертый десяток), а только потому, что он знал, что став взрослым по паспорту, он, с одной стороны, уже не сможет подсматривать, а с другой – не будет иметь времени заниматься женщинами и добиваться их открытого, специально для его глаз разоблачения и обнажения, а также никогда не достигнет того общественного положения, которое позволит ему выезжать за границу и посещать публичные дома и сеансы стриптиза, и, следовательно, он будет лишен возможности пожалеть такую важную и такую скоротечную, скоропортящуюся сторону бытия, как красота женского тела.

И вот, закончив очередной рассказ или повесть, Сергей оставался один на один с зияющей бездной, едва ли не так же как герой одной из его любимых, правда, написанной другим автором книги – «The Catcher In The Rye». В лицо и грудь ему веяло призывным искушающим холодом неизмеримой пропасти, а затылком и спиной он чувствовал жаркое дыхание и напор жизни, и тогда он ощущал себя неким великим заслоном, стеной, щитом, неким водоразделом и заградительным валом, призванным и поставленным не допустить, чтобы шумный и яростный поток жизни, слепо стремящийся вперед и вперед, низвергся эдакой – пусть и очень зрелищной – Ниагарой или Викторией – в бездну, он ощущая себя ловцом и спасателем табуна прекрасных, но не знающих ни цены себе, ни страха за себя мустангов и он, так сказать, набирал полные легкие смертельного воздуха пропасти, напрягал широкие мышцы спины и, надолго задержав дыхание, вперивался в бездну. И от этого-то вперивания, от этого уже привычного и родного глядения в пустоту, в его, Анциферова, голове возникали мысли, – одна за другой, целые вереницы, картины – которые появлялись и делались все ярче и отчетливей на фоне зияющей пустоты как на экране, куда направлен кинематографический луч. Эти мысли заполняли пропасть, засыпали ее до отказа, делали проходимой и пригодной для жизни, но одновременно, они являлись и жертвой, которую Сергей приносил небытию во имя спасения жизни. Когда же некоторые из этих мыслей становились особенно выпуклыми, сплетались в нерасторжимое, рождающее собственную жизнь целое, это оказывалось готовым замыслом, с которым Анциферов усаживался за стол и создавал новое произведение.

Глава третья – В свою очередь

Было бы слишком односторонне и унизительно полагать, что, стоя в разного рода очередях, мы в конце концов, получаем то, что желаем получить – как милостыню, как некую манну, которой должны быть беспрекословно благодарны, перед которой нам следует благоговеть. А, тем не менее (не будем разбираться почему наше сознание устроено так) большинство людей именно так и полагает. Конечно, если бы мы получали то, зачем выстаиваем очереди, бесплатно – то есть в самом широком смысле безвозмездно – тогда просительная, самоуничижительная установка наша была бы объяснима и оправдана, но так как мы всегда расплачиваемся (и в том числе за свое потерянное на ожидание время, за свои окоченевшие в том ожидании руки и ноги) – то, помилуй господи, почему? Почему мы позволяем, например, таксистам не сдавать нам сдачу и сдирать с нас нередко сумму, раза в два большую, чем та, что значится на табло счетчика? Почему, стоя в очереди, замерзая и теряя время, не использовать это время на очень несложные размышления и догадаться, что и таксисты вместе с их машинами тоже стоят в очереди за нами и, более того – они не стоят, но мечутся по всему городу, отчаянно разыскивая нас на дальних перекрестках?

Вяземский давным-давно раскусил этот фокус (знание этого глаз опытный, каковым и является глаз извозчика, сразу прочитывал на его лице) и потому никогда, с тех пор как началась его самостоятельная жизнь не имел неприятностей с таксистами, а вернее сказать, они не имели неприятностей с ним. Вот и сейчас, когда Вяземский занимал место в хвосте длинной очереди на стоянке такси «Аэропорт», молодой водитель государственной машины марки ГАЗ-24, номер 26—08 СВУ Иванов Вениамин Степанович – занял свое место в очереди на Вяземского на другом конце города в куда более многочисленном, чем ряд людей на станции «Аэропорт», ряду самых разных средств транспорта. Вяземский, предвкушая встречу со становящимися в его памяти и воображении все более дорогими и желанными людьми в здании факультета, подвигался вперед крохотными шажками, в то время как Иванов, на дозволенном пределе скорости конкурируя с коллегами, покрывал расстояния в сотни метров от одного светофора к другому. Наконец, он вырвался за черту города и помчался по новому прямолинейному шоссе, последнему в этой местности земному пути, за которым последуют уже только взлетные полосы и пути воздушные, и пассажиру (командировочному), расположившемуся на заднем сидении, временами делалось жутковато от скорости, с которой шла машина – ему казалось, что она поднимется в воздух прежде, чем тот самолет, к которому спешит он, пассажир пока что такси, и полетит, если не в Таллин, то наверняка в кювет.

Водитель Иванов всюду, где только было возможно, ездил быстро, всегда, что называется, жал. Почему он делал это? Можно привести несколько объяснений: оправдывал перед пассажирами, видевшими его фамилию под фотокарточкой на панели управления, поговорку «Какой русский не любит быстрой езды?»; стремился перевыполнить дневной план и иметь повышенный заработок; старался забить и заглушить скоростью и сознанием большой свободы передвижения крайне неприятные, попросту кошмарные воспоминания невыносимого – по окончании факультета иностранных языков – года работы учителем в сельской школе, где свободы не было никакой, где дети не слушались его и не понимали, где он потерял голос, где был жестоко избит старшими братьями одного из разгильдяев-учеников; иллюстрировал бытовавшее в определенном кругу мнение о том, что выпускники иныа – мужчины – работают где угодно, только не в школе. Вероятно, из всех этих нот слагалось, так сказать, водительское аллегро Иванова, и это отвечало на вопрос «почему?». Но на вопрос «зачем?» – ответа не было. Этот вопрос, если уж и ставить его, для таксиста всегда подменялся вопросом «За кем?», и 16 ноября ответом на такой вопрос оказалось: «За Вяземским».

Получив деньги, высадив пассажира и подъехав к стоянке, Иванов сразу заметил человека, голова которого возвышалась над общим уровнем очереди и приковывала взгляд длиною и цветом волос. Воспоминание двухлетней давности шевельнулось в сердце Иванова, толкнув это сердце сильнее. Он присмотрелся и узнал Александра. Это заставило Иванова выйти из машины и пройти чуть вперед в надежде, что так он будет увиден вернее. Однако, Вяземский, которому оставалось переждать четырех человек, чтобы возглавить очередь, не пошевелился, не изменил своей невозмутимо-независимой, даже, как казалось Иванову, отрешенной позы. Иванов слегка обиделся – но не конкретно на Вяземского, а вообще на то мнение, что таксисты, и – шире – работники общественных служб – считаются не вполне людьми, а некими, пусть и самыми важными придатками тех механизмов, что приводят эти механизмы в общественно полезное движение. Иванов сделал было шаг навстречу так – оскорбительно – полгавшим людям, но тотчас отступил и облокотился на капот своей машины, приняв непринужденную позу. Как ни хотелось ему заговорить с Александром, он все же желал, чтобы тот сразу увидел его, Иванова, не просто встречным человеком, но человеком, так сказать, на своем месте, и, более того, особенным человеком, всегда имеющим это – и весьма комфортабельное – место при себе и могущим даже принимать в таком передвижном доме гостей (говорить со знакомым, встреченным на улице человеком в интерьере автомобиля было далеко не то же самое, что говорить с ним просто на общей и ничейной улице и, кроме того, прокатить знакомого человека с ветерком было всегда приятно. Иванов, может быть и неосознанно, настаивал на своем, а вернее, налегая на свое, имел в виду продемонстрировать преимущества избранного им способа существования. Однако, Вяземский не реагировал – поза его, при том, что он подвигался вперед, оставалась неизменной – будто он стоял на некой подвижной поверхности – а на лице, освещенном ровным цветом, шедшим словно из глубины его естества, цвела едва приметная улыбка. Иванов начинал внутренне горячиться и обвивал то правой ногой левую, то левой правую, и барабанил пальцами по крышке капота. Ему хотелось выкрикнуть: «Это же я, Иванов!», едва ли не также как в иные моменты хочется выкрикнуть: «Это я, Господи!» Но Вяземский, как и Господь, оставался глух и не внимал. Если бы Иванов знал, что за своей – казавшейся ему сейчас иезуитской – улыбкой Александр как раз в эту минуту вспоминал в числе других бывших и настоящих студентов иныа (стараясь точно определить, кого можно будет застать на факультете) его, Иванова, он бы так не нервничал. Но Иванов был теперь не студентом, а таксистом и хотел, чтобы его заметили именно как такового. Чтобы не упустить эту возможность ему пришлось переместиться и встать если и не перед носом Вяземского, то перед носом своей машины, ибо Вяземский, продвинувшись чуть вперед, начал уносить свое лицо и с ним могущие видеть и узнавать глаза из поля зрения Иванова. По картонному жетону, свисавшему с ручки дорожной сумки Вяземского, Иванов понял, что Вяземский откуда-то прилетел (кажется из Иркутска, так кто-то говорил Иванову недавно о местонахождении Александра), и досада на то, что он, Иванов, остается столь долго незамеченным, вылилась в едва сдержанное внутри замечание: «Я ж тебя, можно сказать, встречать приехал, а ты!...»

Учась в институте, Иванов отмахивался от людей, говоривших, что Вяземский бог вещь что такое о себе мнит, и, встретив на улице, может сделать вид, что не узнал – он считал такие разговоры жалкими сплетнями завистников, но теперь чувствовал в себе нехорошую готовность склониться на их сторону. Если бы Иванов был телепатом, если бы он только знал чем, то есть, кем были заняты мысли Вяземского! Если бы Иванов обладал способностью к телекинезу, если бы он мог, не сходя со своего места, развернуть Вяземского к себе лицом!...

«А вот возьму, сяду и уеду, раз такое, без пассажиров, к черту пять рублей! – решил вдруг Иванов и уже собрался было осуществить свой замысел, сделал телодвижение в направлении водительского борта машины, как вдруг с его глаз словно упала пелена, и он увидел, что, с одной стороны, перед Вяземским остался всего один человек, а с другой то, что к нему,

Иванову, вытирая руки об и без того промасленную ветошь, направляется коллега и сейчас будет просить о каком-нибудь сугубо профессиональном вспомоществовании или просто заведет шоферский трёп. В сближающихся тисках этих обстоятельств Иванов осознал и то, что из-за своей дурацкой минутной гордости он может упустить некогда – нет, и теперь – дорогого человека, с которым был (оказавшись в пусть и менее, но все же экстремальной ситуации, Иванов стал думать по-английски и заменил «Had Been» на «Has Always Been») в таких чудесных отношениях; он понял как близка и велика угроза упустить Вяземского и уступить его какому-нибудь безразличному шоферюге, который повезет не человека (не говоря уже о том, что редкостного человека!), а просто анонимный кошелек, содержащий деньги, часть которых можно заполучить; он понял, что увидеть Вяземского и не подойти к нему (не то, что уж, имея полную возможность, не подвезти!), не заговорить с ним означало бы совершить поступок, который будет потом всю жизнь отягощать его, Иванова, совесть, грызть ее, и что это окажется ему не только по-человечески тяжело, но и опасно – опасно как водителю. Одним словом, вид – теперь уже – одной только спины Вяземского произвел в душе Иванова счастливый переворот и заставил его в мгновение ока перейти с профессиональных, шоферских позиций, в которых он уже начал закосневать, на позиции студенческого и то есть – шире – человеческого братства и милосердия. В свете этого прозрения Иванов (пусть он и не обладал способностью к телекинезу, но голос-то он оставил не весь в сельской школе!) странным не своим голосом закричал: «Вяземский!»

На этот крик повернула головы вся очередь, и Вяземский в том числе. Но он повернул свою голову в тот момент, когда она была полна воспоминаний о годах студенчества и потому, увидев Иванова, держащего одной рукой распахнутую дверцу такси, другой шапку (Иванов снял ее, чтобы Вяземский лучше и быстрее узнал старого знакомого) и глядящего навстречу обоими широко раскрытыми глазами, он произнес, словно в недоумении: «А где же остальные?» Эта фраза дала Иванову больше удовлетворения, чем, случись оно и будь высказано, признание его лично, и потому он, сам не зная как ему это удалось, ответил в тон: «Иных уж нет, а те, кто есть – на месте!»

«Так едем же скорее!» – воскликнул Вяземский, и Иванов не спросил адреса – адрес был ему известен без лишних уточнений.

Едва усевшись в машину и захлопнув дверцу, повернувшись и подмигнув занимавшему место за рулем Иванову, хлопнув его по плечу, Вяземский, мощно крутя ручку, опустил боковое стекло, высунул в окно голову и, обращаясь к новой очереди, прокричал: «Еще Вяземский, Батюшков, Языков, Баратынский, другие декабристы? Есть?...» Очередь молчала. Иванов, хохоча, заводил мотор и собрался тронуться. Вяземский смотрел на людей испытующе и серьезно.

«Поехали!» – бросил сквозь смех и через плечо Иванов, – «Хватит одного Вяземского!»

Вдруг из хвоста очереди, подхватив с земли чемодан, выступила девушка, пробежала несколько шагов и остановилась: «Гончарова – подойдет?»

Вяземский, улыбаясь Гончаровой, потянулся и распахнул заднюю дверцу.

Как только машина, управляемая Ивановым, выехала на магистраль, Вяземский повернулся к Гончаровой. Он чувствовал странную ответственность перед таким способом примененной девушкой, и ему казалось, что не заговорить с нею было бы все равно, что пригласить человека в дом и не напоить чаем, не накормить. Он говорил с Гончаровой о смелости и решительности, отличающей нынешних женщин и отличающей их выгодно от нынешних же мужчин. Он позволил себе предположить, что окажись в очереди человек действительно по фамилии Батюшков или Рюмин, или Муравьев, что вполне возможно, то этот мужчина, не в пример Гончаровой, промолчал бы. Затем, Вяземский и Гончарова, обменялись мнениями и сведениями о погоде здесь, в Свердловске, в Крыму (откуда прилетела Гончарова) и в Иркутске (откуда прибыл Вяземский), а когда дело дошло до обмена адресами (Вяземский из озорства, или

из глубокого предчувствия дал адрес факультета иностранных языков и назвал номер одной из аудиторий), то выяснилось, что Гончаровой было нужно на совершенно противоположный конец города.

Иванов, который – снова оказавшись за рулем и почувствовав себя на родном месте – с неудовольствием (вернее с постыдным раздражением) думал о том, что с Вяземского будет неудобно и просто невозможно взять деньги, услышав эту новость, взбодрился и повеселел. «Все-таки Вяземский – удивительный человек!» – думал он, сжимая в руках послушное колесо своей фортуны и давя на педаль, – «если и не заплатит сам, то найдет другого, который заплатит!» Но за время долгого, хотя и на большой скорости преодолеваемого пути, в голове Иванова кроме этой присутствовали другие мысли: о том, что вся создавшаяся в машине ситуация – не мало напоминала ситуацию на явочной (и тем более конспиративной, что она могла быстро перемещаться и менять местонахождение) квартире, хозяином которой являлся он, Иванов; о том, что это даже к лучшему – что Вяземский на время пути нашел себе другого собеседника, а не Иванова, которому было бы трудно (с каждым километром дороги, слушая слова Вяземского, обращенные к девушке, он убеждался в этом все больше) говорить с Александром – не потому, что не нашлось бы темы, а по той причине, что Иванов, уйдя в таксисты, все равно что порвал навеки (так он внутренне ощущал) с инязовским прошлым, все равно что отказался от него; о том, что вздумай Вяземский – и без того отличный студент, да еще насобачившийся в беседах с иностранцами – заговорить по-английски, Иванов имел бы бледный вид – если он и был, в минуты особого волнения, способен, пусть и с ошибками, думать по-английски, то после года в сельской школе и года за баранкой активный навык, говоря по-научному, навык экстерниоризации у него совершенно притупился.

Короче, то, как все складывалось, было для Иванова оптимальным вариантом – он встретил Вяземского в лицо и оказал ему те предельные помощь и внимание, на которые был способен. Было довольно, что они пробудут рядом, практически бок о бок целых полчаса в машине, которую он, Иванов, уверенно и вместе с тем лихо ведет. Скорость и комфорт – вот в двух словах то, что мог предложить Вяземскому Иванов. Большого ни от себя, ни от машины он требовать не мог, а Вяземский вообще ничего не требовал. В конце концов (и в конце пути) в виду четырехэтажного здания факультета Иванов добрался в своих размышлениях до пафоса и определил свое место по большому счету так: «Если я здесь вынужденный, пусть и добровольный, изгнанник, и больше не имею права переступить порог этого здания, то я хотя бы могу быстро доставить сюда тех, кто имеет такое право и желание!»

Однако, как бы ни был Иванов близок к истине в этих размышлениях, в своих меркантильных расчетах он ошибся, – Вяземский, выходя из машины и крепко пожимая руку водителю, вложил в эту руку десятирублевый билет. «За даму», – сказал он, подрубив под корень любые возможные и готовые возникнуть возражения Иванова-человека. «Доставь ее по адресу, который она назовет», – были последние слова Вяземского, которые он произнес прежде, чем повернуться и широко зашагать к зданию факультета.

Иванов перевел взгляд с удаляющейся и исчезающей в дверях спины Вяземского на зеркальце, в котором отражалось лицо девушки: она тоже смотрела на захлопнувшуюся дверь. Иванов вздохнул и резко взял с места – у него возникло странное чувство, будто он – личный шофер, которому уходящий на повышение шеф дал последнее прощальное поручение и солидные чаевые.

Глава четвертая – Будни писателя

Если случалось, что загромождавший бездну хаос мыслей не давал сразу, при самой действенной, предельно-напряженной работе мозга и души Сергея Анциферова, плодотворного результата, то есть новой жизни, иначе говоря живого замысла, то Сергей ложился спать в надежде – далеко не пустой и поддерживаемой прошлым положительным опытом – что бессознательная работа мозга во сне, сделает то, что не получалось наяву. И потому Анциферов в своем большом кожаном портфеле, кроме того, что всегда имел около 300 листов бумаги, несколько ручек и миниатюрную настольную лампу типа «грибок» с ножкой-прищепкой, неизменно носил большой, мягкий и теплый шерстяной плед – Сергей никогда не знал, где его застигнет готовый к воплощению замысел или сон, требующийся для «дотягивания» сырого замысла. С портфелем все было продумано – а вернее, получилось само собою – как нельзя лучше. Если то, что требовало быть записанным уже созрело и оформилось в голове и сердце Сергея, – портфель открывался и опустошался – пачка бумаги и настольная лампа вынимались и занимали место на столе. Если же замысел был еще в состоянии зарождения, то бумага и лампа, наоборот, запикивались в одно отделение, прижимались вплотную друг к другу, загонялись в самое нутро, на самое дно портфеля, остальная мягкая кожа загибалась и оборачивалась вокруг них и, таким образом, создавался весьма удобный валик, который Сергей устраивал под голову, а на столе занимал место сам и укрывался пледом.

Писал Сергей на квартирах своих разных и многочисленных литературных знакомых, приверженцев и поклонников. Предварительно он звонил по всем, имевшимся у него адресам, и узнавал, имеется ли на сегодняшние утро, день, вечер, ночь – или на все сутки – свободная площадь – все равно кухня, холл или спальня; и телефонный разговор обычно бывал предельно кратким: Сергей говорил в трубку «Это Анциферов» и ему отвечали либо «приезжай», либо «Извини, сегодня не получится. Позвони тому-то или тому-то, кажется у них свободно».

Спал же Сергей всегда – или по крайней мере старался всегда спать – в одном и том же месте – на факультете иностранных языков. Правда, там тоже приходилось отыскивать свободные от занятий аудитории и комнаты, но общее единство места все же сохранялось. Спать именно на факультете Анциферову было важно потому, что он воспринимал свои отношения с факультетом и свое место на нем как максимально конкретизированный символ своих отношений с жизнью вообще и своего места в ней: он числился в рядах студентов, но ни в учебной, ни в общественной жизни и деятельности их участия не принимал. Он был и одновременно не был – присутствовал телесно, но отсутствовал по существу. И когда он, лежа на столе, подсунув под голову портфель и укутавшись пледом, спал в одной из аудитории, в то время как в других шли учебные занятия или профсоюзные собрания, эта диспозиция – Анциферов-факультет, Анциферов-жизнь, полная внутрисположенность и – вместе – полная независимость и свобода находили свое предельное выражение.

Ценил Сергей свой сон на столе в какой-нибудь из аудиторий иняза еще и за те моменты, когда он, Анциферов, оказывался и балансировал на границе яви и сна, еще не полностью заснув или не совсем проснувшись. В такие минуты, а вернее, секунды Сергею, кажется, удавалось почувствовать невозможное, а именно то, что его будто бы вообще, совсем нет на свете, что мир бытует и свершается без него; ему удавалось взглянуть на мир словно бы до своего рождения или после смерти, и то, что этот мир прекрасно обходится без него, Сергея Анциферова, не рушится, а преспокойно, как ни в чем ни бывало, живет, дышит, продолжается, держится, – наполняло все замирающее, отходящее в иные сферы существо прозаика радостью и блаженством, которые испытывают, наверное, только души, отлетающие в рай, и сопровождающие их бесполое, бестелесные, светозарные ангелы.

Однако не менее драгоценными были и те минуты, когда Сергей от громкого звонка на перемену пробуждался полностью. Тогда он вставал, и выходил из своей аудитории, из своей кельи в коридор, чтобы сделать пяти- или десятиминутный перерыв в своем программном сне, точно так же, как нормальные студенты выходили сделать перерыв в своих программных занятиях. Правда, прежде чем выступить за порог своей аудитории, Сергей обычно в течение небольшого времени стоял у двери и с поднимающейся в сердце радостью предвкушения и узнавания прислушивался к нараставшему в коридоре звуку шагов и гулу бодрых голосов, то есть к шуму молодой, здоровой, продолжающейся жизни. Он чувствовал свое предстояние этой жизни и удерживал себя в таком состоянии до тех пор, пока стремительно разраставшееся как лавина или как ядерный гриб желание увидеть живых людей и их свет, вступить с ними в контакт, не выталкивало – властно и непреодолимо – его, Анциферова, в общий коридор в направлении мужского туалета и имевшейся там комнаты для курения. И вот, ворвавшись, – да, буквально ворвавшись – в это задымленное помещение, Анциферов останавливался в двух шагах за порогом и в мгновение наступавшем молчании десятка – полутора куривших студентов – вертел головой и заглядывал в глаза и лицо каждому из присутствовавших с, что называется по-английски «Greatest Eagerness, Wildest Animation and Friendliness». Затем он быстро, по кругу, обходил всех студентов, крепко, порывисто, страстно пожимая им руки, и чем дальше, тем больше испытывал от простой, земной чувственности, телесности этих прикосновений захватывающие и раздирающие душу, счастливые головокружение и опьянение.

В кругу этих равно далеких ему, но столь же равно близких молодых людей, этих, что называется, славных парней он чувствовал себя (с памятью только что виденного, какого-нибудь особенно грандиозного сновидения или с оформившимся после сна чудесным замыслом) – так, как мог чувствовать себя, наверное, только пророк, спустившийся из горних сфер на землю и пришедший в собрание людей, или как Орфей, поднявшийся из царства Тартара на свет солнечного дня и занявший там свое – именно свое – уникальное место среди немых – то есть, немых, конечно, лишь в сравнении с ним, с Орфеем, – меньших братьев.

Анциферов тоже доставал из кармана или «стрелял» у кого-нибудь папиросу и закуривал, ибо дым от множества сжигаемого табака воспринимался им в условиях иняза, как новая и более эффективная замена дыму ладана в новой и более действенной церкви, в лоно которой все они через равные интервалы возвращались и собирались на пяти-, десятиминутные мессы для лучшего ощущения своего братства. И так, с неопишуемой улыбкой на лице и папиросой в углу рта, он простаивал, прислонившись крестцом к подоконнику и затылком к ручке оконной рамы, все пять или десять минут этой удивительной службы, а затем, со звонком, когда другие студенты расходились на занятия, тоже возвращался восвояси, к своему исконному и присуженному – либо ко сну в аудитории, если замысел еще не выкристаллизовался, либо на одну из своих многочисленных рабочих квартир к письменному столу, то есть к любому имевшемуся там столу, который неизменно превращался в письменный, как только Анциферов устраивался за ним с пачкой бумаги, ручкой и портативной настольной лампой.

Глава пятая – Вяземский заходит с тыла

Если бы Иванов не был таким лихим и резким – как говорили об извозчиках в до-автомобильную эпоху – Ванькой, или если бы у его машины вдруг забарахлил мотор, или произошла задержка с зажиганием, он бы к немалому своему удивлению увидел, как Вяземский снова, только уже лицом вперед, появился в проеме парадной двери факультета, секунду в раздумье постоял на одноступенчатом крыльце и двинулся в обход здания.

Изменившееся решение Вяземского на языке армейском называлось бы заходом с тыла. Конечно, такой маневр Александр предпринял не потому, что, собравшись идти весной в армию, стал использовать любую ситуацию как подготовительную и учебную. Если уж и надевать Вяземского в этом его поступке какой-то социальной ролью, и в том числе военной, и с кем-то, для пушшего удобства и узнавания, сравнивать (все время приходится его сравнивать!), то правильнее было бы сказать, что он вместе с морозом обходил факультетское здание как некий северный Гамилькар Барка, вернувшийся с чужбины в свой северный Карфаген и тайно инспектирующий пространства вокруг мегарского дворца. Правда, продолжая сопоставление с полководцем (причем не без оснований, ибо Вяземский всегда шел во главе, пусть и неприемлемого для Ульриха, многочисленного отряда возможностей), но будучи более внимательным к названию страны, где эти действия имели место, и, памятуя о подоплеке и времени создания известной басни, было бы вернее сравнить Александра, огибающего факультет, с прекрасным крупным волком, ищущим в овчарне тайного доступа, тайного лаза, откуда его никак не ждут. Мысль же о сиюминутной ситуативной принадлежности к семейству псовых могла бы получить подтверждение в тот момент, когда Александр, практически уже достигнув пункта назначения (то есть служебного входа для дворника и работников факультетской столовой), задержался на минуту в сгущающихся сумерках возле глухого угла здания и замер в красивой напряженной стойке подобно хорошо натренированной охотничьей собаке.

Вероятно, что ни одного из именно этих сравнений не было в голове Вяземского – вернее, не было их в столь расчлененном виде. Все они и многие другие, неизреченные, присутствовали в его мозгу, циркулировали там, стремительно поднимались к поверхности ледяными пузырьками доброго выдержанного шампанского, бомбардирующими надежную корковую пробку своим обычным искрометным шипением – обычным, потому что именно так – богато эфемерными, вступающими в молниеносную игру друг с другом ассоциациями устроена голова современного, переполненного информацией до краев, много уже прочитавшего и все еще читающего человека. И вся эта богатейшая, неостановимая подкорковая атака выливалась для Александра в легкую телесную дрожь праздничного возбуждения.

Он явится для них сюрпризом, – он ведь действительно упал с неба! – он нагрянет с той стороны, откуда его (и никого!) не ждут – (именно это соображение, кажется, и было основным, заставившим его идти в обход). Берясь за дверную ручку и отмечая, что она раза в три меньше и тоньше той, что на парадной двери (что, очевидно, символизировало значительно меньшую важность черного хода), Вяземский поймал себя на том, что мысли празднично-озорного толка как-то вдруг оборвались. Путешествие было окончено и вместе с этим померкла радость предвкушения! Оно было окончено уже у парадного подъезда, но лишь стоя у крыльца заднего, Вяземский понял это – как раз для этого самого осознания и потребовался предпринятый только что и удачно завершившийся обходной маневр – и больше, оказывалось, не для чего. Вяземский почувствовал себя поставленным перед этой дверью как перед фактом и, кроме того, что слегка замерз, ощущал неуют и нерешительность иного, более существенного рода. Он никогда раньше не уходил от жены к другой женщине или к друзьям, то есть, он, конечно, ходил и очень, часто – в этом была вся его жизнь – по одним адресам, но он именно ходил – все равно, что в гости, и хотя он знал, что всегда имелась масса женщин и друзей, готовых его при-

ветить и оставить, что называется навсегда, оставить у себя жить, он никогда не думал о такой возможности как о реальной и серьезной – у него был свой дом и надежный тыл. Теперь же, если он и сравнивал себя с полководцем уже сознательно, то он был таким, который, успешно зайдя в тыл врагу, не имел тыла собственного. Если же он сравнивал себя с псом, то с таким породистым зверем, который если и не был изгнан на мороз своею хозяйкой, то убежал от нее, недостойной, сам и теперь, с твердым знанием, что назад дороги нет, стоял перед чужой дверью. Конечно, вместо того, чтобы болтаться перед служебной дверью на заднем крыльце в неприятной (задним умом он понимал это), неподобающей ему, таким каким он был (только раньше или всегда?) неизвестности, он мог стоять с полной уверенностью в себя перед дверью кого-нибудь из своих институтских друзей или подруг – в зависимости от пола хозяина – с бутылкой или с букетом. Однако, в создавшемся положении Вяземский – он отдавал себе в этом полный отчет – мог стоять только у двери факультета. Приди он к кому-нибудь лично, избирательно – все равно в какой атмосфере происходила бы встреча – он бы так или иначе предал себя на милость одного человека, который, уже в силу того, что он хозяин дома, стал бы хозяином ситуации. На факультете же, такое – если и было в принципе возможно – то не должно было произойти: не зря же он проделал такой долгий путь и ушел от недостойной жены, от своего позора именно сюда!

Глава шестая – История болезни

Как спортсмен высокого класса в пике своей спортивной формы являет легкую добычу для всевозможных простуд и детских инфекций; как певчая птица в миг самозабвенной трели не видит крадущегося к ней по стволу хищника, так художник, а тем более выдающийся художник, пребывающий в расцвете таланта, эксплуатируя его на полную силу, без жалости и предусмотрительности (а искусство и не допустит подобного отношения к себе), подвергает себя множеству вредных факторов, что не может не сказаться на состоянии его здоровья. Литератор же – творец почти нематериального промысла, лишенного любой другой деятельности кроме мыслительной, мыслетворческой, при сведении практической части этой работы, то есть фиксации результатов ее на бумаге, к минимуму – подвержен такой опасности вдвойне. Это некое профессиональное заболевание. История уже знала такие примеры: Микельанжело, потерявший зрение при росписи сикстинского плафона, лежа на спине у самого купола на лесах в течение лет; уральские камнерезы, создававшие великие шедевры, потрясавшие ими мир, а сами погибавшие от чахотки, астмы и других болезней, вызванных ядовитой каменной пылью. Все это примеры беззаветного служению искусству.

Анциферов-писатель и Анциферов-биологический организм проживали в состоянии явного сословного неравенства. Писатель, в силу величия своего таланта, имея большие на то основания, претендовал на то, чтобы большинство суточного времени уделялось письму, а так же сопряженному с этим письмом сну. Телесная же оболочка Анциферова подвергалась постоянному угнетению и ущемлению своих интересов со стороны этого тирана и часто недополучала своего, что могло касаться пищи, физических движений, физиологических отравлений, ухода за телом (ежедневных водных процедур, воздушных и солнечных ванн, утренней гигиенической гимнастики. Под действием перечисленных факторов и складывался внешний облик, скажем прямо, незаурядного мастера мировой прозы.

Обладая редким трудолюбием, Анциферов мог, не вставая, писать по восемь – двенадцать часов, делая это быстро, навалившись на столешницу животом и грудью, склонив голову так, что колпачок ручки оказывался на уровне правого глаза и иногда задевал за скулу, то есть, довольно низко, что было с одной стороны следствием его возрастной близорукости (ведь не стоит забывать, что медицинский и паспортный возраста писателя составляли внушительную разницу), а с другой – письмо как акт низвержения тонкого слоя пасты с юркого шарика стержневой ручки на бумагу, или же перехода на нее мономолекулярного слоя графита с кантового карандаша, – представляло для него известный физический интерес, и близкое рассмотрение этого феномена воодушевляло и подвигало Сергея на продолжение многочасового, самозабвенного писательского труда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.